

Александр Куприн

Гога Веселов



Александр Иванович Куприн

Гога Веселов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2525445

Аннотация

«В такие дни охотно дремлет; сидишь, ни о чем не думаешь, ни о чем не вспоминаешь, и мимо тебя, как в волшебном тумане, плывут деревья, люди, образы, звуки и запахи. И как-то странно, лениво и бесцельно обострено воображение. Эти едва ли передаваемые ощущения испытывают люди, сильно помятые жизнью, в возрасте так приблизительно после сорока пяти лет...»

Содержание

Александр Иванович Куприн Гога Веселев

Все это случилось в 1917 году. Только что окончилась кровопролитная мировая война, и народы, зализывая бесчисленные раны, с удивлением спрашивали сами себя:

– Зачем и какому богу были принесены эти миллионы людских жертв?

А многолетние липы Летнего сада, посаженные еще по повелению Петра Великого, сладко, медвяно благоухали неприметными скромными цветами. И по-прежнему, как во времена Пушкина, ходили взад и вперед по желтым дорожкам голоколенные будущие Евгении Онегины со своими monsieur l'Abbé и десятилетние Татьяны со своими гувернантками.

И освобожденные, как из гробов, из зимних деревянных футляров, улыбались страшными улыбками полуистлевшие боги и богини, посеревшие, безрукие, безносые, с ноздреватыми мраморными телами, источенные зубами времени, поросшие легким мхом, точно бронза патиной. Но издали, сквозь прозрачную, подвижную зелень деревьев, волнистые линии их торсов, бедер и ног, окаменевшие в жеманных, целомудренно-бесстыдных, мило-условных позах, го-

ворили простодушно о золотой прелестной сказке человеческой юности.

В такие дни охотно дремлет; сидишь, ни о чем не думаешь, ни о чем не вспоминаешь, и мимо тебя, как в волшебном тумане, плывут деревья, люди, образы, звуки и запахи. И как-то странно, лениво и бесцельно обострено воображение. Эти едва ли передаваемые ощущения испытывают люди, сильно помятые жизнью, в возрасте так приблизительно после сорока пяти лет.

Вот уже который раз проходит мимо меня дама с лицом фаршированной щуки. Бледно-голубые глаза. Белые ресницы. Нос и зубастые челюсти угрожающе выдвинуты вперед. Иногда она присаживается на скамейку. Опять встает и нервно ходит взад и вперед, топчась почти на одном месте. Косит глаза на маленькие часики, прикрепленные у ней под подбородком. Опять садится. Щеки краснеют пятнами. И уже заранее я знаю, что *он не придет* сегодня.

Идет отставной генерал, основательно выкрашенный в черно-фиолетовую краску.

Ноги у него подагрические, негнущиеся. Идет он только в силу инерции, и мне кажется, что, однажды разбежавшись, он никак не может остановиться, пока не уткнется животом в какое-нибудь неподвижное препятствие. Но он не торопится. В руках у него длинная плоская коробочка, аккуратно завернутая в гляцевитую бумагу и перевязанная розовой лентой. Конечно, конфеты из хорошей кондитерской.

«Кого ты поджидаешь, жгучий брюнет? Сколько ей лет? Не четырнадцать ли? И какое ты сделаешь лицо при встрече? И, должно быть, какая славная, чистенькая, уютная старушка твоя шестидесятилетняя жена».

Два деловитых, но сильно потертых франта. Это игроки малой биржи, от Доминика, из Empire или Café de Paris. Очевидно, оба вральщики. У них живой, стремительный разговор и страстная жестикуляция. И я почти угадываю, о чем они говорят: «Я вам могу предложить Ленские». – «Совсем наоборот, дорогой коллега, я ищу другое...» – «Не возьмете ли Павдинские?» – «Ах, нет, совсем не то. Нет ли у вас каких-нибудь планов или секретных бумаг?» – «Отчего же и не найтись... В настоящее время у меня нет, но есть верное место... Что же касается уплаты...»

А напротив меня, наискось, сидит человек в черной широкополой шляпе; путаная борода, длинные волосы, пенсне; темно-синяя косоворотка выглядывает из разреза жилета. Вот он оглянулся налево, направо, лениво зевнул, нахлобучил на лоб шляпу и аккуратно складывает на коленях прочитанную газету. Я лениво думаю о нем и твержу мысленно, плывя в волнах туманящей дремоты:

«У него наружность демагога... магога... Гога и Магога... Мога... Гога...»

И тотчас же на меня падает движущаяся тень. И я слышу над собой прекрасный, так называемый бархатный баритон: – Однако довольно стыдно не узнавать знакомых. Неуже-

ли вы не узнаете меня?.. Ведь я Гога!.. Гога!..

Да, несомненно, это Гога Веселов. Это его лицо, фигура и осанка, все вместе – нечто промежуточное между Сирано де Бержераком и Оскаром Уайльдом. Бритое по-английски лицо и огромный устремленный вперед нос; преувеличенно холодная, отраженная во всех движениях невозмутимость и живые, разнообразные, актерские звуки голоса.

Я его давно знал. Встречался я с ним, правда, очень редко, еще в то время, когда он проедал и пропивал несколько наследств: дядино, мамино, папино, тетино, двоюродных бабушек, – наследств, в виде каменных домов с суточными номерами, трактиров, торговых бань, даже чуть ли не публичных заведений. Много рассказывали в городе, а иногда и в печати об его диковинных, чисто по-русски несуразных кутежах, в которых смешивались остроумие с жестокостью, грязь с изысканностью, издевательство с трогательными порывами.

Но как-то полоса удачи сразу прекратилась. И с чрезвычайной быстротой Гога покатился вниз с горы. В последний раз я видел его в Ницце, откуда он каждый вечер ездил в Монте-Карло. Администрация этого игорного учреждения в память прежних огромных проигрышей и в виде пренебрежительной признательности выдавала ему каждый день по одной золотой монете в двадцать франков. Но когда он проигрывал эту подачку, то с него не брали денег, а когда выигрывал, – ему не платили.

Изо всех видов человеческого падения самый гнусный – это образ впившегося, зарвавшегося игрока.

Гога удивительно быстро опустился и подрыхлел. Играл в тайных притонах, где иногда расплачиваются за проигрыш ударом кулака или ножа в живот. Попрошайничал у русских путешественников с громкими фамилиями. Не прочь был иногда и сосводничать кому-нибудь шикарную кокотку. Очень выручало его знание двух иностранных языков: французского и немецкого. Французский он изучил в Париже, когда заболел скверною болезнью и лечился у Фурнье; немецкий – в Ахене, где проходил дополнительный курс, принимая серные ванны.

И вот я вижу совсем нового Гогу. Прямо точно он сейчас родился на божий свет вместе с этой весной и с этой шикарной одеждой. Цветущее лицо. Великолепное английское пальто балахоном, без швов назад. Палка черного дерева, вся испещренная золотыми инициалами. Тонкие замшевые перчатки цвета голубиногорла. Чудесное белье и в петлице смокинга бутоньерка с пучком ландышей.

– Cher maitre¹, не пойдем ли мы позавтракать?.. Regardez², черт возьми, mon ami³, какая хорошенькая блондинка!.. Волосы цвета спелой соломы, а глаза синие, точно васильки...

¹ Дорогой учитель (*фр.*).

² Посмотрите (*фр.*).

³ Мой друг (*фр.*).

Или полька, или литвинка, и, должно быть, у нее красивое имя... Ванда или Иоася... А впрочем, пустяки... Если хотите, поедем куда-нибудь в кабачок?.. К Кюба, к Донону или в «Медведь»... Или, впрочем, вы, может быть, не побрезгуете позавтракать у меня?.. Повар, правда, у меня ниже отличного, учился, к сожалению, не у французов, а у Козлова или, кажется, у Зеста. Но вина в моем погребе совсем недурны. Такой шамбертен, который я вам предложу, не подают даже при дворе... Мой погреб – это маленькая коллекция...

В те времена, когда звезда Гоги Веселова стояла в зените, я избегал его общества. Но теперь уверенный и спокойный тон его голоса, трезвый и здоровый вид, вежливые манеры заставили меня заинтересоваться.

И вот я начал переходить от изумления к изумлению.

При выходе из Летнего сада на набережную Мойки, у Цепного моста, дожидался Гогу лихач... Так я сначала подумал, когда его окликнул Гога. Наваченный зад в складках, шелковый картуз, огромная борода... Но сейчас же по виду прекрасной рыжей кобылы, по способу кучера держать вожжи и по щегольскому виду новенькой пролетки с изящным низким ходом на резиновых шинах я понял, что упряжка собственная.

Итак, мы проехали на Каменноостровский проспект и остановились у старинных чугунных узорчатых ворот. Внутри двора, отделенного от улицы маленьким искусственным парком с фонтаном и цветником, стоял красивый каменный

особняк с цельными зеркальными окнами, с массивными дубовыми дверями, без обычной медной дощечки.

– Ты, Степан, сейчас заедешь и скажешь мистеру Джексону, – приказал Гога, – что в воскресенье будет бежать Марамощка, а Генерала Эч пускай снимут с программы. Ты понял?

И он очень предупредительно помог мне слезть с экипажа.

Повар русской науки был выше всяких похвал. Но еще больше меня поразила сервировка стола. Красный богемский хрусталь с вырезанными в каждой грани цветочками, фарфор старинной фабрики А. Попова, блестящее столовое белье, серебро, цветы в высоких тонких вазах... и все это играет в ярких солнечных лучах. Очень милостивая женщина в кружевном передничке прислуживала нам, – неторопливая, скромная, лет тридцати – тридцати трех, полногрудая, румяная, черноволосая, красногубая, сладкоглазая, с очаровательным смешком и с ямочками на каждом пухлом пальчике, в простом, но милом черном платье, из выреза которого красиво поднималась сдобная белая шея. Когда мы перешли к кофе и джинджеру, она тоже присела за стол.

И разнеженный Гога любовно прихлебывал крошечными глотками пряный ликер, нюхал букетик фиалок, вынутый из вазочки, и с наслаждением говорил о своем особнячке, о своих трех лошадях – упряжной и двух беговых, о газетных сплетнях, о новом кафешантане и о шикарном клубе, куда он недавно избран.

Чем дальше, тем более Гога для меня становился загадочным. Как произошло это изумительное, невероятное превращение? Не сорвал ли Гога банк в Монте-Карло, чудом уплатив свои прежние позорные займы? Не состоит ли он, вежливо выражаясь, другом какого-нибудь чудовища, забытой временем Мессалины? Не получил ли нового колоссального наследства?.. Ничего не понимая, я не смог удержать любопытства и спросил:

– Гога, что же наконец значит эта жизнь из сказки Шехеразады?

Мне показалось, что он на минуту смутился и даже будто его орлиный нос слегка побледнел от неожиданного вопроса. По крайней мере, я ясно видел, как дрогнули у него веки и опустились вниз; но он овладел собой.

– Ах, в том-то и дело, *mon cher ami*⁴, что я сам этого не знаю. И когда я увидел вас сегодня в Летнем саду, меня потянуло просто исповедаться перед близким другом, перед братом. Липочка, прикажи дать нам еще кофе... Да не старайся особенно спешить... «Друг мой! Брат мой!.. – задекламировал он, когда женщина вышла легкой, ловкой походкой... и я не мог понять: говорит ли он искренно или ломается, – усталый, страдающий брат, кто б ты ни был...»

– Сентиментальность в сторону, – сказал я. Но опять мне показалось, что Гогини глаза блеснули слезами.

– Ах, боже мой, кто же меня выслушает? Вы думаете, это

⁴ Мой дорогой друг (*фр.*).

было мне легко сначала?.. Но вы сами помните, как меня гнала судьба! И вот, в те дни, когда мелькала у меня мысль о самоубийстве, вдруг попадается мне случайно газетное объявление: требуются образованные молодые люди в возрасте от тридцати до сорока лет для важной и секретной работы в бюро... это, положим, хотя и не государственная, а частная, но все-таки тайна. Да притом и в объявлении оно названо не было... это я сейчас приплел... Ну, скажем, в бюро ознакомления с общественным настроением. Необходимы хорошие манеры и свободное знание хотя бы двух иностранных языков: французского и немецкого.

Уверяю вас, мой обожаемый, что я пошел туда вовсе не из обычной моей проказливости, а именно под пятой жестокой бедности. Думал, что, конечно, меня через два дня выгонят. Но оказалось, что я сразу понравился. И вот, ей-богу, – тут у Гоги глаза совсем уже явно наполнились слезами и нос мгновенно покраснел, – ей-богу, когда мне дали вскрыть первое письмо, я, старый разбойник с душой крокодила и совестью глиняного истукана, я почувствовал, что краснею не только лицом, но и грудью и спиной. Должно быть, ведь и палачу не особенно ловко впервые терять свою невинность... Но верно говорит старая русская поговорка: «Первую песенку зардевшись поем», а потом и пошло. Пятое, десятое, сотое письмо... И я уже стал думать, что так и нужно. Как будто бы я родился на свет божий с этой милой специальностью. Да и притом рассудок – чрезвычайно гибкий утешитель: «Не я –

так другие сделают». А потом пошло и еще легче. Пока не вошло не только в привычку, но даже и во вкус. Я ведь всегда был спортсменом по всем отраслям, а в молодые годы не находил себе равного по разрешению ребусов, шарад и головоломок. Начальство стало удивляться моей прозорливости. Иногда из-за какой-то неуловимой странности тона в самом простом, невинном девичьем письме я останавливал на нем пристальное внимание и открывал удивительнейшие вещи в чтении начальных букв каждой строки, или в буквах, расположенных по диагонали, или в порядке слов, выписывая их через одно, через два, сверху и снизу. По запаху, по маленькой скоробленности или желтизне бумаги я знал, что надо прибегнуть к нагреванию или химическим реактивам, обращал внимание на фабричную марку на характеры почерков и прочее... Выработал в себе со временем истинный профессиональный нюх, который, впрочем, был у меня, должно быть, и раньше, как дар свыше. Наконец из одного частного письма я выудил такое сведение о моем главном патроне, что тот только ахнул, когда я ему показал документ, и сейчас же повысил меня в должности с прибавкою пятидесяти рублей в месяц. Он-то и толкнул меня на путь позора и богатства. Он – мой истинный, хотя и невольный сатана-искуситель! О, боже мой, какой это соблазн – компрометантные письма... Муж в Сибири делает для банков огромные закупки пшеницы, ржи, муки, мяса... Жена в столице... Любовник на Кавказе, в Пятигорске. Разбит параличом и ездит в

кресле-самокате. Так они себя там и называют – велосипедистами. А из ихней переписки я уже вижу, что из Сибири даме идут деньги, и очень большие, а из дома и на Кавказ пересылаются тоже не малые. Так приблизительно в месяц фунтов около двухсот стерлингов. Конечно, я сначала стеснялся-стеснялся, а потом одно письмецо в этом жанре взял и прижал под ноготь. И затем печатаю объявление в газетах, что вот, мол, «случайно найдены письма, адресованные на имя А. М. К. по адресу такому-то, оттуда-то. Хочу вернуть лично. От двух до четырех. Пассаж. Джентльмен с гвоздикой в петлице»... Женщина попалась, очевидно, умная и властная. Но как женщина – все-таки глупа. Жалуется в сыскное отделение. Что и требовалось доказать... В назначенное время узнает меня издали и показывает глазами на меня скромному господину в гороховом пальто. Я их всех знаю наперечет, как полосатых зебров, а если не знаю, так чувствую инстинктом. Он сейчас же подходит ко мне, а дама скрывается. Он мне говорит: «Не угодно ли вам следовать за мною?» – «Куда?» – «Видите ли, вам выгоднее не сопротивляться, я вас повезу в сыскное отделение. Мы с вами сядем на извозчика, как два порядочных человека, и никто из публики не догадается. А если вы задумаете упрямитесь, то я просто посвищу городских, и вас повезут насильно. И тогда я ни за что не ручаюсь». Я ему отвечаю: «Отчего же? С удовольствием. Только, знаете, я здесь поджидаю одну даму. Мне случайно попали в руки ее письма... Я служу в бюро

справок и розысков. И письма эти настолько откровенного и неприличного содержания, что я, по врожденной мне стыдливости, должен был их сжечь... и сжег... нарушив этим до известной степени мой служебный долг. Об этом я только и хотел ей сказать... Подождемте минут десять – пятнадцать, а потом я весь к вашим услугам, мой молодой, пылкий, но неопытный друг... Вы можете обыскать меня в полиции, можете произвести самый тщательный обыск в моей квартире. Моя совесть чиста, как поцелуй младенца. Вы же, за ваше рвение не по разуму, турманом полетите с вашей полупочтенной службы, и желал бы я знать, куда вы пойдете дальше? А вот, кстати, и моя официальная карточка».

Ну, конечно, мой молодой друг расстегнул рот. Он такого шахматного хода не мог даже и подозревать. И оставляет меня в покое... И даже извиняется. А я его великодушно прощаю и даже угощаю папироской. Но если бы у меня эта штука и сорвалась, – все равно у меня ничего бы не нашли: при себе я ничего не ношу, а документы держу в третьем секретном месте.

Но на другой же день эта дама «А. М. К.» получает от меня письмо, написанное мною, моим почерком, с собственной подписью и целиком – имя, фамилия и адрес:

«Сударыня, случайно в мои руки попала честь Ваша, Вашего супруга и близкого Вам субъекта. Как порядочный человек, я хотел ликвидировать компрометирующую тайну с глазу на глаз, между мной и Вами, но Вам угодно было в это

тонкое и щекотливое дело замешать грязные руки сысской полиции. Тем не менее я останусь джентльменом с ног до головы и до конца моей жизни. Письма уничтожены, но не уничтожены их последствия. Это не от меня зависит. Не угодно ли Вам будет приехать по означенному адресу, где я лично передам Вам то, что необходимо было передать вчера в Ваших интересах».

Конечно, если бы я так писал мужчине, то он пришел бы в любой оружейный или седельный магазин, купил бы там стек из гиппопотамовой кожи, разыскал бы меня и отхлестал, как последнего сукиного сына. Но женщина теряется. Приходит ко мне в определенный срок, плачет, дрожит, волнуется... Угрожает самоубийством на моих глазах. «Э, нет, матушка, не проведешь!..» – думаю я себе. Ведь я уже давно разузнал об ее положении и состоянии. Два дома в Петрограде и Москве, отель в Париже и вилла в Ницце, тысячи десятин земли на Волге, лесные и хлебные баржи... Черт! Образованная, почти светская женщина, но... что хотите? – все-таки купчиха... Кровь сказывается... Муж для закона, актер для симпатии и так далее... И говорю:

– Двадцать пять тысяч, сударыня...

– Ах, боже мой, такие огромные деньги!..

– Ваш тенор, мадам, обходится вам дороже за один месяц!..

Начинается торговля. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать четыре пятьсот и, на-

конец, двадцать пять...

Аккуратно, как честный человек, вручаю ей все четыре письма. Они у меня пронумерованы по порядку и даже числа указаны.

– Все? Все, подлец?!

– Подождите, сударыня. Минутку внимания. Двадцать пять тысяч по вашему чеку я получу, конечно, сегодня или завтра. Вы немедленно же потрудитесь съездить за чековой книжкой, если она не при вас. А за слово «подлец» через неделю вы мне приплатите еще двадцать пять тысяч. Потому что ваши документы я вам возвратил, но раньше с них сделал фотографические снимки – с них и с конвертов. Не угодно ли полюбоваться?

Выбрасываю ей из ящика письменного стола один за другим снимки. И на каждом восемь тонких тщательных фотографий: четыре письма и четыре конверта. Фотограф я превосходный.

Первый снимок она разрывает на мелкие части, от второго опять начинает плакать, третий... четвертый... пятый приводят ее в ярость, в исступление, в бешенство...

– Говори! Скорей, скорей, мерзавец!.. Сколько еще осталось!.. Говори!..

– Я уже сказал вам – пятьдесят тысяч... Ангел мой, уничтожьте хоть сто фотографий... Но ведь негатив-то у меня, родная вы моя. Понимаете? Да и два письма вашего козлетона тоже у меня. Ну уж и выраженьица... Только актер мо-

жет в любовном письме дойти до такого мандрильного бесстыдства... (Про теноришку, конечно, вру на всякий случай; его писем у меня нет.) Но за слово «мерзавец» будет ровным счетом семьдесят пять тысяч. Сударыня, не брыкайтесь. Ведь здесь нас только двое. И даже некому подать вам стакан на воды или нашатырного спирту от обморока. Все равно вы в моих руках. И навсегда. Так уж лучше будьте моей постоянной дойной коровой. А за хорошее поведение я обещаю вам не тревожить ни этого почтенного мужчину, ни того красавца. Идет?..

...И раки бордозе, и форель в белом вине, и куриные котлеты с трюфелями *à la marechale* давно уже давили мне горло.

От дыма сигар я почти не видел Гогина лица, и порою он совсем исчезал из моих глаз, и тогда голос его бубнил, точно большая муха через перегородку из ваты. А он продолжал медленно, с расстановкой:

– С нее и пошло... Приобрел я опыт и хватку. А там мне удалось захватить две выгодные поставки. Заработал я процентов четыреста... Что же?.. Не я, так другие... Проживешь ты всю жизнь одною честностью и сдохнешь, как свинья под забором или в Обуховской больнице: И кому от этого польза? А другие живут и впивают в себя все радости, все наслаждения, весь блеск и праздник жизни... А жизнь так очаровательно красива и так омерзительно коротка!..

А потом я под руководством одного из моих прежних кли-

ентов сыграл несколько раз на бирже на понижение. Рискнул, правда, всем состоянием, накопленным таким тяжелым трудом, но... выиграл, вернее, мне дали выиграть. А теперь – баста. Не хочу быть невольником труда. Хочу музыки, хочу пения, хочу танцев, хочу вина, хочу женщин, хочу, хочу, хочу... хохочу... захочу... Но тут внезапно голос Гоги совсем удалился и потух. И сам он раздвоился, ушел вдаль и расплылся в сигарном дыму... И самый дым вдруг позеленел, заперестрел, задвигался. И когда я открыл глаза, то нашел себя все на той же скамейке в Летнем саду. А сидевший против меня демагог только что успел сделать от своей скамейки три шага, и сложенная газета торчала у него из левого кармана. Ах, какое удивительное явление – сон. В две-три секунды перед тобою пробегут десятки лет, сотни событий, тысячи образов. И как живо, как непостижимо ярко!.. Но все-таки слава богу, что это был только сон...